

УДК 93
ББК 63.3
P95

Диалоги с Россией. Петр Рысс и его русская революция

Публикуется по изданию:

Рысс П. Я. Русский опыт: Историко-психологический очерк русской революции. Париж, 1921.

Рысс, Петр Яковлевич

P95 Русский опыт: Историко-психологический очерк русской революции / Вступит. ст. В. В. Хасина, А. В. Лучникова. — М.: Кучково поле, 2017. — 224 с. — (Библиотека русской революции)

ISBN 978-5-9950-0817-0

Книга П. Я. Рысса — не просто воспоминание о 1917 годе, это попытка очевидца осмыслить произошедшее. Автор, будучи активным деятелем кадетской партии, непосредственным свидетелем и участником этих событий, он не только передает увиденное, а пытается осмыслить происходившее. Его записки — результат попытки осмыслить революцию, которую он всю жизнь готовил, а когда она произошла, оказался к ней совершенно не готов.

УДК 93
ББК 63.3

ISBN 978-5-9950-0817-0

© ООО «Кучково поле», 2017

События русской революции, поиск правых и виноватых вот уже столетие представляют собой неисчерпаемый источник размышлений и рефлексий для русской интеллигенции. Количество мнений растет с каждым годом, и в той же пропорции — их поляризация. Прошедшее со времени революции столетие не привнесло согласия ни в общество, ни в науку. Все так же остаются темами непримиримых дискуссий причины, движущие силы, ход и последствия русской революции. Часто исследователи говорят об одном и том же, раскрашивая до неузнаваемости фасады собственных теорий. Постоянно «плодящиеся сущности», воображаемые альтернативы развития России неуклонно отдаляют нас от понимания истинных причин разыгравшейся драмы.

Революция — это либо мир простых схем, изложенных непонятным языком, либо область эмоциональных экзистенциальных исканий. Выжатая до уровня сухих определений советских идеологии и историографии, многообразная и самобытная история русской революции была интегрирована в мифологизированный единый и поступательный процесс формационной теории. Описательные стереотипы этого глобального и драматического события, возникающие у человека, воспитанного в постулатах оте-

чественной, ведущей свое происхождение из недр советского прошлого историографической традиции, привычно помещались в прокрустово ложе трех заостренных «нерешенностей» — аграрного, рабочего и национального вопросов, приправленных сложностями Первой мировой войны. Но за фасадом из терминов зияет молчаливая пустота сложных реалий разрушавшегося мира. Ностальгическая беллетристика о «поруганной» и обманутой безбожными деспотами России представляет другой полюс рецепции проблемы. Здесь нет места логике и анализу, это пространство эмоций, обид, непонимания собственных ошибок и того, что на место вымышленной России двух процентов населения пришла настоящая страна подавляющего большинства.

Чудовищность и глобальность происходивших событий (мировые войны, революции, культурные и социально-экономические эксперименты) невозможность осмыслить, верифицировать и вербализовать гигантский массив информации, явлений, процессов, новых форм социальной коммуникации приводили к необходимости поиска интегрирующих конструктов и всеобъясняющих схем. Эсхатологические откровения сменялись внешне логичными позитивистскими построениями. Привыкшее обобщать модернистское мировоззрение, все значительные научные теории XX века, от марксистской до цивилизационной, ориентировали читающего человека на восприятие исторической реальности как четко структурированного пространства, подчиненного простым, жестким и непререкаемым законам бытия. Результатом стало появление огромного количества однотипных научных работ. Схематизированные и безжизненные творения кабинетных теоретиков в большинстве своем отдалают нас от понимания истинных реалий революции.

Современные антагонистические концепты не реконструируют события, а создают эфемерные конструкты.

Книга Петра Рысса — не просто воспоминание о событиях столетней давности. Это попытка очевидца осмыслить произошедшее. Важно, что автор не «гость из будущего», трактующий социальную реальность с современных позиций под шелест страниц архивных документов. Он непосредственный свидетель и участник, воспринимающий и отражающий революцию в естественных для того времени языковых и ментальных формах. Это плод тяжелой рефлексии, иногда разрушенных идеалов, мучительного понимания их эфемерности и блестящего анализа событий, точных и живых характеристик героев эпохи, их помыслов и действий. Где-то он кажется наивным, где-то грешит излишним «психологизмом», но в целом вызывает жгучее чувство зависти у современного исследователя живыми и яркими образами повествования, объемным описанием эпохи.

Очень важно осознать, что любая революция — это не столько экономические, социальные и политические катаклизмы, сколько невозможность найти общее решение, отсутствие коммуникации между различными стратами общества. Это яркий индикатор несостоятельности диалога между разнообразными социальными группами, вызванной как нежеланием услышать друг друга, так и невозможностью понять визави.

Одной из причин разыгравшейся драмы русского общества и пусковым механизмом революционного лихолетья стала догоняющая модернизация в России второй половины XIX — начала XX века. При всех своих несомненных плюсах она имела и ряд негативных последствий. Во-первых, возникал феномен асинхронности развития различных социальных страт. Соци-

альные группы проживали одновременно в одной стране, но в различных исторических эпохах и географических координатах. Понятого диалога между ними не существовало, а общение происходило лишь с вымышленными образами друг друга, с придуманным собеседником, якобы воспринимающим мир в той же тональности.

Во-вторых, начало XX века демонстрировало неэффективность «имперских» отношений, построенных на различных архаичных формах априорного неравенства и иерархичности общества. Как и все проекты в России, реформы были вызваны внешними обстоятельствами, необходимостью быть конкурентоспособным на международной арене. Российская империя напоминала лохмотное одеяло и представляла собой пример разобщенности в национальном, социальном, культурном, конфессиональном планах. В то же время европейское общество модерна стремилось к единообразным формам, к появлению наций, в которых мобилизация строилась на восприятии себя частью единого культурно-исторического, политического, территориального пространства. И независимо от типа правления горизонтальные связи гражданства постепенно вытеснили вертикальные формы подданства. Европейское общество к интеграционным идеям пришло в процессе долгого и тяжелого эволюционного развития, российские элиты же заимствовали эти формы и пытались приспособить к архаичному традиционному сознанию подавляющей части населения. Выражались эти тенденции и в направленных на разрушение социальных барьеров либеральных бессловесных реформах Александра II, и в попытках эклектично совместить противоречивые идеи этнического национализма, построенного на равноправии внутри этноса, и жесткую социальную иерархию при

Александре III, и в метаниях между империей и гражданской нацией при Николае II. Ретроспективно обращаясь к российской истории, можно вспомнить и Николая I с «теорией официальной народности», и его оппонентов декабристов, мечтавших о национальном государстве в первой четверти XIX века. Однако все это вело в итоге к еще большему обособлению социальных страт. Часто люди, представляющиеся оппонентами, в том числе и друг другу, как, например, П. А. Столыпин и либералы, во многом придерживались схожих идей формирования современных национальных институтов в противовес имперским. Революция показала, в том числе и им самим, «как страшно далеки они были от народа». Столыпинские реформы не создали класс индивидуальных собственников, а привели к резкому обострению отношений в деревне. Европеизированные интеллектуальные элиты экстраполировали мироощущение небольшого собственного круга на всю страну. Для них традиционная аграрная Россия уже была национальным государством, а монархия — неприятной помехой, сдерживавшей естественное развитие.

Просвещенная Россия восприняла революцию как счастливый общественный порыв, но единение всех против опостылевшей монархии имело различные мотивы. Русские либералы увидели в ней всплеск народной свободы, освобождение от тягостных оков самодержавия, желание общества самостоятельно строить собственную судьбу. А народ радовался свержению слабого монарха, не способного в патерналистском сообществе жестко и грамотно решить вопросы войны, обеспечения достатка и спокойной жизни. Социум был опьянен волей, абсолютно инфантильным чувством вседозволенности и безответственности. Кадеты и октябристы, первоначально составившие Времен-

Народ не знал и не хотел знать, что кончить войну было немыслимо. Не хотел знать, что комиссия по созыву Учредительного собрания усиленно работает, составляя положение о выборах. И совершенно не хотел знать народ, что для передачи земли нужна исполнинская предварительная работа, требуются издание закона и компетентное утверждение его Учредительным собранием. Нет, психология неграмотного населения была другой: психологией ожидания обещанного чуда. Чем больше было обещано, тем нетерпеливее становилось ожидание. А дни тянулись — и чуда все еще не было.

VIII

Большевики. Ленин. Троцкий

Среди болтунов, обещавших народу столь много чудес, не было энергичных и до конца последовательных людей. Но в большом количестве таковые находились среди большевиков, и это обстоятельство не было случайным. Идеология большевизма, о которой я вкратце говорил, содержала в себе элементы марксизма в доведении их до логического абсурда, элементы народничества и славянофильства и элементы бунтарства. Психология большевизма была психологией типично русской, с ее отталкиванием от Запада, с ее органическим отвращением к культуре. Европа сотня-

ми лет, в порядке медлительной постепенности, выработывала знания, религию, цивилизацию, твердо запечатлевая всякое свое движение вперед, и потому Европа консервативна, охраняя культуру, с таким трудом ею выработанную, потому Европа и в социализме, и в индивидуализме сохраняет дух эволюции, дух *пре-емственности*. Этого чужда психология России. В статике своего созерцания, в силу многообразных причин, Россия элементов ума, знаний и воли была лишена в течение нескольких столетий. И в примитивной социальной структуре общества, в несовершенстве политических своих форм народ видел не несчастье, а руку Промысла, указующего ему — народу — свой особый путь. Такая психология порождала широкое религиозное движение, смыслом которого было отрешение от земли, от несовершенств жизни и искание подлинной веры, воплощение божественных законов. Такая психология порождала политико-социальные учения, каковыми и были славянофильство, народничество и большевизм. Это — Россия боролась против Запада и его культуры. Это — темный народ, наделенный гением религиозного вдохновения, сокрушал старую цивилизацию греко-романского мира, чуждую и враждебную Киреевскому, Герцену, Лаврову, Ленину. Не то было важно, что большевизм усвоил некоторые положения марксизма и всю марксистскую фразеологию; важно было то, что переваренный в кипятке русской психологии большевизм как нельзя более соответствовал времени и духу народа.

В напряжении сокрушить чуждую ему культуру народ не мог считаться с нею, ибо не знал ее, хотя инстинктивно ее отвергал. И потому, как дитя и варвар, как суровый аскет и одержимый духом разрушения маньяк, он легко, со сладострастием долгожданной мести, уничтожал все: государство, армию, учрежде-

ния, культуру быта и людей. В нем не было еще живо чувство ответственности за себя, за свои деяния, за свое имущество, ибо он жил в общине, в этом коммунизме первобытных времен, где коллектив подавляет волю и стихию собственности. И народу нужно было разрушение, как потребность неустранимая. Выведенная из покоя, накопленная энергия по необходимости должна была пойти по пути разрушения, идеализированного Бакуниным, этим типичным выразителем русской стихии. Что было терять народу в процессе разрушения? Нищету и унижение? Или государство, которого идеи он не понимал, но которому инстинктивно противился как форме культурного устройства общества? Народ не знал и — по невежеству своему — не мог знать, что такое «интернационал» и «коллективизм», от которых к нему апеллировали; он не знал, что такое «империализм», «национализм», «буржуазный строй», которыми его пугали. Чуждые иностранные слова, лишённые для русского крестьянина какого бы то ни было содержания! Но в загадочности этих слов таилась правда ненависти и разрушения или любви и надежд. Сорванный с цепей истории революцией, народ хотел получить *все*. А чем было это все, ему говорили изо дня в день, целый день, на фронте и в тылу, на площадях, на улицах, в залах театров, в казармах.

Кто были они — большевики? Было бы крупной ошибкой думать, как думают многие, будто пред нами шайка злоумышленников, посланная в Россию враждебной Германией для расстройств жизни. Такое упрощение опасно, ибо борьба против большевизма и его социальной природы превращается тогда в борьбу против отдельных лиц — против большевиков. Нет, это не злоумышленники, не удачливые преступники, совершившие великое зло, — это русские по психоло-

гии своей люди, дошедшие до конца в отрицании им чуждого. Это — дети России, разрушающие чуждую им культуру Запада, уверенные, что свет идет с Востока, что России суждено явить миру образец высшего разума и осуществить социальную справедливость. Для них не были пустыми слова и фразы о переустройстве общества, об уничтожении буржуазии, о социальной революции, о немедленном прекращении войны. Взяв от Запада экономическую схему Маркса, они были чужды ей *психологически*. Терпеливо ждать медленной эволюции общества было неприемлемо для стихии бунта, для нетерпеливого характера и для разгоряченного ума. Разрушая современное общество, они ничего не теряли, ибо они были далеки от культуры Запада. Оттуда они взяли формулы, некоторые мысли как орудие для борьбы — *существо* их действий, бессознательные мотивы, руководившие действиями, исходным пунктом отправления имели веру в чудо, которое дано осуществить России. Для них не было зигзагов, отклонений в сторону. Как фанатики, как одержимые интуицией прямолинейности, они, не оглядываясь по сторонам, прямо шли к намеченной цели. Впереди — социалистический рай, в него надо прийти, не считаясь с какими бы то ни было препятствиями, а что мешает — надо во что бы то ни стало уничтожить. Это была арифметика, где существуют сложение и вычитание, умножение и деление, но которая еще не дошла до представления об отрицательных величинах, до теории больших и малых цифр. Примитивная вера, примитивно-прямолинейная логика, примитивная идеология и примитивные инстинкты при полном неуважении и недоверии к культуре и к опытности старой и мудрой Европы — вот что составляло отличительные черты большевизма. Это — психология русского крестьянства, и потому

большевики не были продуктом чужеземным; нет, это было русское, насквозь русское явление! Их была кучка интеллигентов, прошедших долгие годы изгнания за границей, и во главе находился Ленин.

Русский дворянин, он с ранней юности был в кругу революции. Его брат был казнен по делу о заговоре*, а сам Владимир Ильич Ульянов — настоящая фамилия Ленина — с гимназической скамьи вращался в среде революционеров. Ему не удалась карьера ученого, ибо во-первых, он науке отдавал время, свободное от политики, и во-вторых — ему пришлось оставить Россию и стать эмигрантом. Плотный, светлый блондин с татарским черепом и узкими татарскими глазами, Ленин не производил ни отталкивающего, ни притягательного впечатления, что утверждают одни и в чем уверяют другие. Такие лица в огромном количестве встречаются в волжских губерниях, на Урале, на северо-востоке России — обычные лица среднего класса, тип, характерный для славянско-монгольской помеси. Лишь взглядываясь в выражение глаз Ленина, замечаешь, что пред тобой человек большой воли, каким Ленин и является. Но воля как прирожденное качество не отличительная черта его природы. Едва ли не самым для него характерным является схематичность его ума, и отсюда — небрежность во всем.

Ленин — схематик в науке, он набрасывает контуры, он очерчивает границы, но в пределах этих границ — огромное пустое место, которое всякий может заполнить чем ему угодно. Построения его схематичны и потому малоубедительны, но крупный дар логики помогает Ленину удачно защищать свои схемы, защищать их с формальной стороны, почему

* Александр Ильич Ульянов (1866–1887) был повешен по приговору суда, признавшего его виновным в подготовке покушения на царствующего императора Александра III. — *Примеч. ред.*

логически они могут казаться неуязвимыми, хотя негодны по существу. И далее, как я говорил, Ленин небрежен. Он небрежен в своих писаниях, в речах, в одежде, в пище, в обращении с людьми. Он не замечает, не умеет замечать ничего, ибо — будучи эгоцентриком — не пытается уделить время и внимание людям и вещам. И, как большинство эгоцентриков, он высокомерен, замкнут в себе и глубоко презирает людей. Последние не существуют для него в реальности, они — лишь абстракция, один из элементов, с которым приходится считаться при осуществлении его схемы. Важна идея, важно ее претворение в жизнь, а что при этом погибнут миллионы людей, разрушится Россия или весь мир — это явление второстепенное, мало интересующее Ленина. И далее: это законченный тип того упрощенного человека, о котором мечтал Лев Толстой. Не из принципа, но по природе своей Ленин — само упрощение. При сильном логическом, но упрощенном уме схематика и фанатика он инстинктивно упрощен и в обыденной жизни. Ему чужда культура быта, и, сам того не замечая, он живет в грязи, без потребности жить в чистоте, как живет европеец даже низшего класса. Инстинктивно не нуждаясь в культуре, он примитивен в потребностях своих, ест что угодно, лишь бы быть сытым; одевается во что попало, лишь бы укрыть тело от непогоды; спит в любом помещении и на любой постели, только бы выспаться, и т. д. и т. д. Отсюда — моральная и физическая неразборчивость. Ленин едет в Россию с разрешения германского правительства в особом вагоне. Он делает это не во имя отвлеченных теорий, дающих ему право пренебречь условностями морали; нет, для него чужда мораль, ибо раз нужно ему что-либо, он делает это, не чувствуя внутренней потребности спросить самого себя, поскольку это морально или поли-

тически необходимо. Это — не иезуитизм, когда цель оправдывает средства, а просто — духовный примитивизм, природа акультурного человека. Ленин не неморален: как первобытный человек — он аморален, без слов, без оправданий для себя, так как сам не сознает ни величия подвига, ни глубины падения.

Как все схематики, как все культурные дикари, он жесток и деспотичен. Требуя во имя схемы действий до конца, он не замечает людских страданий, голода, смерти. Есть логика его схемы, в ней истина, вне ее — не существует ничего. И так во имя социальной революции он готов залить мир кровью, лишь бы осуществить свою схему. Пусть погибнут миллионы человек от болезней, лишений, разве это существенно? Пусть погибнет Россия — разве в ней дело? Где-нибудь надо произвести опыт, таким местом оказалась Россия, и на ее спине Ленин может произвести эксперимент, как на спине всякой другой страны. И ни одна страна не мыслится им как совокупность миллионов человек; нет, это — только бездушный материал, созданный для производства экспериментов. Его пролетарий — абстрактен, и в нем он не видит страдающего человека. Его буржуа — также абстрактен, лишен оболочки человека. Для Ленина происходит в мире борьба между двумя абстракциями, а сам он — Ленин — создан для того, чтобы направлять эту борьбу, во имя одной абстракции сражаясь против другой. Он не любит и не понимает слов «человек», «истина», «благородство» и проч. Он понимает лишь схемы: «класс», «буржуазия», «пролетариат» и т. д. И он не знает поэтому середины, промежуточных понятий, промежуточных положений; для него правда — это то, что укладывается в его схему; все, что не укладывается, — враждебно и подлежит уничтожению. Для него существуют лишь два цвета: красный, цвет революции до конца, и бе-

лый — цвет контрреволюции, к которой относятся все, кто не большевики. Так ограниченный культурно человек всегда мыслит жизнь без нюансов, без переходных ступеней; так дикарь знает лишь две загадки: рождение и смерть.

Такова психология главы большевиков, психология человека акультурного, противника Запада по инстинкту, схематика и деспота. Если главой большевизма был Ленин, главой большевиков стал весьма быстро Троцкий. Он был всегда меньшевиком и упорно боролся с большевизмом. Но события русской революции переместили его в лагерь долголетних врагов. Полная противоположность Ленину, Троцкий далек от схем и примитивной прямолинейности главы большевизма. Он — ярко выраженный семит, в котором положительные и отрицательные черты племени сказываются с редкой законченностью. Среднего роста, сутулый, с большим кривым носом и огромными красными губами, с курчавыми черными волосами, Троцкий являет собой карикатуру на еврея, изображаемого антисемитским живописцем. Большой и сильный темперамент южанина подчиняется, однако, сильной, сконцентрированной воле, которая в нем живет. Это отличный оратор, пресыщенный язвительностью, но лишенный настоящего пафоса. Это — первоклассный журналист, в руках которого перо может превратиться в отточенную шпагу. С одинаковым талантом он защищает марксизм от народничества, обрушивается на П. Н. Милюкова, описывает Испанию и характеризует рулетку Монте-Карло, чему он посвятил ряд отличных статей в разгар войны в «Киевской мысли». Но его писания, его речи талантливо внешне, но лишены того содержания, которое волнует, заставляет думать, наводить на мысли. Троцкий памфлетист, он — памфлетист всегда, полемика и борьба — его стихия. Он долго